Эмигранты

Автор:
Алексей Толстой

Эмигранты

Алексей Николаевич Толстой

Трагическая и противоречивая картина жизни представителей белой эмиграции изображается в замечательной повести Алексея Толстого «Эмигранты», захватывающий детективно-авантюрный сюжет которой сочетается с почти документальным отражением событий европейской истории первой половины XX века.

Алексей Николаевич Толстой

Эмигранты

Факты этой повести исторически подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств. Профессор Стокгольмского университета сообщил мне подробности этого забытого дела. Остальные персонажи и сцены взяты по возможности документально из материалов, из устных рассказов и личных наблюдений. В первой редакции эта повесть называлась «Черное золото».

А. Толстой

Летом тысяча девятьсот девятнадцатого года ветер с океана приносил короткие ливни, солнце сквозь разрывы облаков освещало мокрые асфальты Парижа, бульвары, каштановые аллеи, аспидные крыши, полосатые парусины над столиками кабачков, потоки потрепанных автомобилей, снова вернувшихся с полей войны к услугам парижан и иностранцев.

Город испускал сложное благоухание. Центральные бульвары пахли бензином и духами, боковые улички – ванилью, овощами, винными лавками, непроветренными постелями, гигантские железо-стеклянные рынки – всеми дарами моря и земли. В старых, взбирающихся на холмы извилистых улицах, где жили те, чье мускульное напряжение наполняло город золотом и роскошью, пахло жареной картошкой, мокрыми опилками кабачков, ацетиленовыми фонарями уличных палаток, где жарились вафли и крутились пестрые рулетки.

Ветер с востока, с полей войны, разгонял пленительную лазурь полутеней, солнце жгло зеркальный асфальт, сухо шелестела каштановая листва, лоснились потом проборы у толстеньких гарсонов, смахивающих салфетками пыль с мраморных столиков на тротуарах, нездоровье проступало на женских лицах, загримированных с послевоенной решительностью, нехорошее возбуждение – на лицах юношей, свинцовая усталость – под седыми усами у стариков.

Ветер с полей войны, где под тонким слоем земли еще не кончили разлагаться пять миллионов трупов промежуточного поколения французов, немцев, англичан, африканцев, нагонял на город тление. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбункулами, рожей, гнилостными воспалениями, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи.

Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококковой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты, траур остался лишь в черных оттенках мужских галстуков, женщины обнажились по пояс, и город с часу дня до розовой зари надрывающе пел саксофонами.

Всюду, где был квадратный метр свободной площади, взвывала стальная пластинка флексотона, мурлыкала скрипка, хрипела кривая дудка, стучали дощечки, бухал турецкий барабан, и демобилизованный, плотно прижимая к себе растопыренными пальцами женщину, шаркал и шаркал подошвами…

Каждый демобилизованный не прочь был бы устроить веселенькое побоище по возвращении с войны. В конце концов, покуда дураки сидели в окопах, умные не теряли времени в тылу. Но власть предоставила вернувшимся «защитникам отечества» лишь мирным путем отыскивать себе место в жизни. Все было ново, потрясено, сдвинулось, перемешалось. Франк падал, цены росли.

Руки, привыкшие к винтовке, не легко протягивались в окошечко кассира за скудной субботней выручкой. Что ни говори о прекрасной родине, а ухлопать такую уйму народа, чтобы вновь одним – с парусиновым свертком инструментов на плече благонамеренно шагать в дымах рассвета к гудкам кирпичных корпусов, другим – проноситься по тем же мостовым в шикарных машинах (сонные морды, завядшие бутоньерки, смятые груди смокинговых рубашек), – тут можно было задуматься: «Так что же, выходит – ты чужое счастье купил своей кровью? Дурак же ты, Жак!»

Правительство, обеспокоенное настроениями рабочих кварталов, стремилось сгладить остроту: около миллиарда франков было отпущено на стабилизацию цены на превосходный белый хлеб. Двести тысяч франков взлетело вечером четырнадцатого июля с мостов Парижа пышными ракетами, огненными дождями, павлиньими хвостами в черно-лиловое небо. Ежедневно все восемьдесят столичных газет раскрывали таинственные преступления, жуткие убийства – трупы в багажных корзинах, головы, выловленные в Сене. Удалось потрясти воображение сексуально-кровавым процессом Ландрю: этот второй Рауль Синяя Борода заманил на свою дачу двенадцать женщин, ограбил, задушил и сжег их в печи. Ландрю казнили в Версале, куда устремились еще с вечера толпы шикарных парижан. Коротая теплую ночь на площади перед гильотиной, они веселились, как дети. Звезда эстрады, Мистангет, плясала на верху лимузина. На рассвете палач, в черном сюртуке, в цилиндре, появился рядом с двумя столбиками, где наверху поблескивал треугольник ножа, – палач дал знак. Из тюрьмы выволокли упирающегося лысого человека со всклокоченной черной бородой… Несколько секунд – и он привязан под ножом, он вздрагивает икрами. Палач нажимает кнопку, глухой стук ножа, голова Ландрю отскакивает в корзину. Туда же палач, сняв осторожно, бросил белые перчатки. Приподнял цилиндр. Рукоплескания…

Организованы были экскурсии на развороченные поля сражений, где торчали обломки городов и ряды деревянных крестов пропадали за горизонтом. Ни травинки, ни птиц, ни насекомых – почва была еще пропитана нарывным газом. За двадцать франков можно было поглядеть на места гибели пяти миллионов

человек.

Эти экскурсии подготовляли общественное мнение: Совет Десяти медлил с подписанием мира, – Германию ожидала суровая кара. Двадцать семь стран и народов, воевавших против Германии, послали представителей на парижскую мирную конференцию, в ней выделилось ядро из пяти великих держав – Совет Десяти. Во главе стоял президент США – Вудро Вильсон. Он привез из Вашингтона четырнадцать пунктов вечного мира для человечества. Эти четырнадцать заповедей из страны, которая загребла все золото Европы, должны были восстановить дух христианства, мирные рынки и свободу торговли на суше и море.

Четыре остальные державы – Франция (представитель Жорж Клемансо), Англия (Ллойд-Джордж), Италия (барон Сонино) и Япония (барон Макино) – готовились вонзить зубы в колонии и богатства Германии и ее союзниц. Их волчий аппетит президент Вильсон упрямо пытался ограничить бесплодными, как англосаксонское воскресенье, проповедями о победе добра над злом. Премьер-министры четырех держав задыхались от негодования. Не подымайся за его спиной из-за океана такая распухшая золотом махина – США, они давно бы вышвырнули за дверь этого Божьего посланника с его квакерской шляпой и тощими брюками.

Непримиримее всех, мстительнее, жаднее была Франция. Она готовилась к огромному индустриальному подъему: приобретая Эльзас и Лотарингию, оккупируя угольные богатства Рейна, захватывая африканские колонии, Франция намеревалась занять место Германии в промышленности.

С первых же заседаний Совета Десяти Франция повела линию на завоевание мира. Восьмидесятилетний «национальный тигр», злой и злопамятный Жорж Клемансо предоставил Вильсону бороться сколько влезет за торжество добра и ждал, когда он всем опротивеет. Клемансо разрабатывал французский мир: двести миллиардов долларов германских репараций (по три тысячи долларов с каждой немецкой души), провинции, Рейн, колонии, раздел Турции, создание и вооружение «великой» Польши, наконец, большой военный поход на восток Европы: Берлин – Москва. Словом – возобновление империи Наполеона I.

Восток особенно тревожил французских буржуа. Красная зараза могла испортить все дело. Уже Германия и Венгрия сотрясались от революционных бурь. Галицийцы, бунтуя против польских панов, осаждали Львов. Итальянские

рабочие выбили медаль с профилем Ленина. Славяне бывшей Австрии казались ненадежными. Никто не мог поручиться (так говорил Ллойд-Джордж), что вся Восточная Европа, охваченная большевистским безумием, не двинет на Париж стомиллионную Красную Армию.

Когда Вильсон, длинный, розовый, седой, похожий на пастора, говорил о разоружении народов и милосердии к врагам, Жорж Клемансо только лающе покашливал, и косматые брови его нависали плотским ужасом над призрачными идеями президента. По существу он опасался одной только Англии.

Прошло уже восемь месяцев с окончания войны. Банкеты, праздники и фейерверки сопровождали каждый шаг мировой конференции. Журналисты обшаривали Париж в поисках таинственной особы, с которой веселился Вильсон. Старик был дьявольски скрытен, – несомненно он веселился, и вовсю, – он худел, у него дергалось лицо на заседаниях, он волочил ноги. Ребенку было ясно, что он где-то проводит ночи в чудовищном разврате. Когда об этих предположениях сообщили Клемансо, он в первый раз за восемь месяцев усмехнулся, зажмурил глаза, седые усы приподнялись, лицо сморщилось, как у тигра, увидевшего мышь.

Мир все еще не был подписан. Союзный флот продолжал блокаду Германии. Немцы питались сырой брюквой и десятками тысяч умирали от истощения. Никто не знал, чем окончатся заседания конференции. Война могла возобновиться. От нее охраняли только четырнадцать пунктов Вильсона. Доходили слухи, что в Америке деловые люди хмурятся, как от сделанной глупости: Вильсон ставил соотечественников в смешное положение, – чего, поди, в Европе начнут думать, что США населены одними мечтателями… Вокруг Вильсона образовалась пустота… Тогда-то Жорж Клемансо ознакомил Совет Десяти с основами французских мирных требований.

Четырнадцать пунктов летели к черту. Президент возмутился и пригрозил отъездом. Но он не уехал. Он хотел спасти хотя бы осколок идеалистической философии – Лигу Наций. Он отчаянно боролся. Лига Наций была провозглашена, тогда он уступил во всем, отдав европейские народы на растерзание. Франция победила. В Версаль затребовали немецких представителей, чтобы вручить им на рассмотрение мирный договор.

В безоблачное утро седьмого мая германский министр иностранных дел – граф Брокдорф-Ранцау (в черном, черных перчатках, с черной тростью), высокий,

замкнутый, вошел с пятью представителями в белый зал Версальского дворца. Немцы увидели потоки солнечного света сквозь переплеты высоких окон. Свет и зелень лужаек, шпалер, синева фонтанов отражались в старинных зеркалах противоположной стены; казалось, солнце мира летело в восемь оконных пролетов. Там, где некогда помещался трон Людовика XIV, короля солнца, за столом, завершающим амфитеатром расположенные золотые кресла, сидел Клемансо в темно-серой стариковской визитке – коренастый, с угловатыми плечами; опухшие руки в серых перчатках сжаты в кулаки, квадратное лицо топорщилось белыми бровями, пожелтевшими усами. Направо от него – высохший президент Вильсон, налево – приветливо улыбающийся, франтоватый, румяный, седогривый Ллойд-Джордж с опущенными на губу седыми усами и хищным носом. Ниже – в креслах – пестрые представители двадцати семи стран и народов, посланных купечеством урвать, что можно…

«Господа делегаты германского государства. Здесь не место для лишних слов… Вы навязали нам войну… Мы принимаем меры, чтобы подобной войны более не повторилось… – так заговорил Жорж Клемансо, тяжело дыша от ярости. – Час расплаты настал. Вы просили нас о мире, мы согласны вам предложить его…»

После его речи секретарь конференции с изящным поклоном поднес графу Брокдорфу-Ранцау книгу в триста печатных страниц, переплетенную в белый сафьян, – условия мира. Ранцау бросил на нее черные перчатки, надел роговые очки, разобрал листочки ответной речи. Он знал, что слова бесполезны – одну только силу можно было противопоставить этому купающемуся в солнце амфитеатру разбойников… Но этой силы у него не было.

Пятьдесят два дня спустя в том же зале Версаля к инкрустированному, на изогнутых ножках, столику подошел Клемансо, привычным движением матерого журналиста обмакнул золотое в золотой ручке перо, стряхнул, – черная капля как бы понеслась мимо чернильницы в мутную бездну воспоминаний («в семидесятом году в Бордо я поклялся отомстить пруссакам, – я мщу»), – и он подписал…

Шестьдесят миллионов немцев упали на колени. Из-за Рейна во Францию – день и ночь, день и ночь – потянулись тоскливо длинные поезда с углем, сырьем, пушками, машинами. Тощие, с землистыми щеками немцы, костлявые немки, дети, покрытые болячками, глядели вслед этим поездам, вслед улетающей на долгие годы надежде поесть, отдохнуть… На Германию опускалась ночь, озаренная заревом с востока. Но для тех, кто правил Германией, этот отблеск

был страшнее ночи.

2

Французское правительство пышно отпраздновало переход к мирной жизни по древнеримскому обычаю – триумфом.

В центре Парижа – на площади Согласия, вдоль широкой аллеи Елисейских полей и на площади Звезды вокруг приземистой арки Наполеона – навалены были кучами (с трехэтажные дома) немецкие заржавленные пушки. Повсюду торчали высокие жерди в форме средневековых копий, спирально перевитые лентами. Между ними висели гирлянды цветов из желтой бумаги… Одна из сидящих каменных статуй на площади Согласия – статуя города Страсбурга, пятьдесят четыре года покрытая трауром, – сегодня утопала в знаменах.

Августовский день был зноен и сух. В бледном небе, сверкая, кружились аэропланы. С голых ветвей каштанов падали последние сухие листья. Между шестов и бумажных роз по этой страшной аллее войны, похожей на обгорелый лес, несли впереди войск полусгнивший труп без лица – неизвестного солдата. Могила ему была вырыта под триумфальной аркой Наполеона. Играли рожки, били барабаны. Из-за Сены, из горячей мглы, стреляли пушки. Республика отдавала воинские почести народу: каждый бедняк теперь вправе думать, что в центре столицы мира, под аркой Звезды, лежит его брат, его сын, пропавший без вести. Человеческие потоки медленно двигались за войсками. Тончайшая пыль поднималась от мостовых, ложилась на миллионы лиц, обозначая морщины усталости, опустошения, невозвратимых утрат. Кое-где пробегала молодежь, взявшись за руки… Но разве это было веселье? За все муки – подарить народу гнилой труп без лица! Веселились вовсю лишь американские солдаты – сытые жеребцы, шатались под руку с девчонками, нахлобучив их шляпки себе на железные шлемы…

Вечером над черной Сеной взвились потешные огни. В рабочих кварталах завертелись карусели, отражая миллионами зеркалец хмурые пыльные лица. По опустевшим улицам поползли на колесиках четырехугольные рамы с зажженными плошками, за ними ковыляли безногие, безрукие, безглазые, – это инвалиды войны собирали милостыню. На перекрестках играли уличные

оркестрики. Но Парижу не плясалось в этот душный, безветренный вечер. Сидя на стульях у порогов своих домов, у кофеен, на скамейках бульваров, люди поглядывали на лиловое зарево над городом, на догорающие кое-где за рекой линии иллюминаций, на огоньки Эйфелевой башни. «Эх, Жак, не думаешь ли ты, что кто-то здорово надул тебя сегодня?…»

Немецкие миллиарды поплывут мимо носа, прямо в банки Больших бульваров. Краснеют огоньки папирос у дверей, тихо бредут по домам неясные в темноте фигуры… Вот когда сказалась старость… Дикой бы крови сюда. Великих бы замыслов – в этот прекраснейший из городов…

3

Около часу дня на Елисейских полях (где уже убрали шесты и пушки) в кафе Фукьец, посещаемое иностранцами, вошел человек, одетый по моде, завезенной американцами: короткий пиджак с подложенными плечами, широкие штаны, полубашмаки с острыми носками, глубоко – набок – надвинутая мягкая шляпа, галстук бабочкой, в руке камышовая трость, в кармане полузасунуты свежие перчатки.

Он быстро прошел через первый зал с накрытыми для завтрака столиками, спустился на две ступеньки и положил трость и окурок сигары на цинковый прилавок бара.

– Что угодно, мосье?

– Степную устрицу.

За стойкой усатый тучный красавец в белой куртке начал готовить смесь из джина, томатного соуса, кабуля, кайенского перца и сырого желтка. Человек сел на высокий табурет, загнул за дубовые ножки носки туфель; впавшие сизо-выбритые щеки, прямой рот, быстрые глаза. На мизинце веснушчатой руки – крупный бриллиант.

Человек был не из тех, кто любит болтать всякий вздор за стойкой. Глотнув адской смеси, он сильно потянул ноздрями кривого носа и, повернувшись всем телом на высокой табуретке, стал глядеть на дверь. Он ожидал кого-то. Веки его время от времени полузакрывались, увлажняя сухость глаз.

И вот с тротуара в бар забежал человек, настолько странный, что бармен за стойкой высоко морщинами собрал кожу на лбу.

Вошедший не одну уже ночь, видимо, провел на бульварных скамейках – до того был помят и грязен. Розовое от пьянства лицо его не то шелушилось, не то давно было не мыто. К Фукьецу неудобно заходить в шляпе, снятой с огородного пугала. Но вошедший как будто не испытывал неудобства. Не подавая руки человеку с бриллиантом, он мутноватыми глазами обвел зеркальные полки с бутылками.

– Виноградной водки, – приказал человек с бриллиантом и ногой подвинул второй табурет. – Садитесь, Налымов. Если вы не пьяны до потери сознания, поговорим о деле.

Вошедший сел на табурет прямо, привычно, даже изящно, и мягкое лицо его сморщилось, будто от беззвучного смеха.

– Я необыкновенно трезв… Но водки пить не стану. Вы все-таки не держитесь со мной, как хам… Августин, коньяку с содовой…

Бармен поднял обе брови, округлил рот под серпообразными усами:

– Мосье Налимофф!.. О ля-ля… Это вы, мосье… (Он защелкал языком, дружески наливая рюмку коньяку, полез под стойку, обтер салфеткой холодный сифон содовой.) Уже скоро год, как вы не посещаете Фукьец.

– Были причины, Августин… (Налымов налил из сифона пенной содовой в фужер с коньяком, жадно – с каким-то даже стоном – выпил. Глаза его увлажнились.) Итак… (Обернулся к человеку с бриллиантом. Тот брезгливо холодно оглядывал его лицо, одежду, башмаки.) Прошу извинить, я опять забыл вашу фамилию…

– Александр Левант, – сквозь зубы, редкие и желтые, ответил человек с бриллиантом.

– Левант, Левант, – повторил он, как бы втискивая это имя в пропитую память. – Итак, Левант, вы хотели, чтобы я вас познакомил?…

– Пойдемте за стол. – Левант схватил трость и пошел через арку.

Августин негромко спросил:

– Мосье Налимофф хорошо знает мосье?

– Нет, Августин. Но это не важно. Предположим, что его действительно зовут Александр Левант. С этим нужно мириться. Это – люди будущего. Итак, мы завтракаем.

Потерев сухие ладони, он слез с табурета и пошел к уединенному столу, где, спиной к свету, поместился Левант.

4

– Вам нужно одеться приличнее, Налымов. Что это значит? Так опуститься! Семеновский офицер! И – бросьте вы это пьянство. Кому это нужно? Можете меня не благодарить, но после завтрака я повезу вас в английский магазин…

Александр Левант ел торопливо и неразборчиво, губ не вытирал. Почти не пил вина. Темные глаза его, не участвуя в еде, тревожно бегали по лицам входивших в кафе.

– Вижу, вы такой человек, – с вами нужно быть откровенным. Я на вас наткнулся, просматривая в военном министерстве списки русских офицеров. Отозвались о вас благоприятно. Признаться – ожидал вас найти в более приличном виде… Что это вас потянуло на дно? С головой на плечах не найти денег в Париже? Вздор!

Из верхнего зала доносилась музыка. Налымов жмурился, наслаждался – рюмочка за рюмочкой, – слегка под музыку раскачивался. Еды почти не касался и ничем не выражал внимания к собеседнику. Лицо его оживлялось внезапно, когда с залитого солнцем тротуара в кафе входила какая-нибудь американочка с детским лицом и птичьим голоском. Внимание его привлекала роза в узкой вазе, он, всхлипнув, глядел на опадающие лепестки. Его рассеянность не смущала Александра Леванта. Подали десерт, кофе, ликеры, сигары. Левант выбрал гавану, золотыми ножничками осторожно отрезал кончик, закурил, откинулся, положил веснушчатые руки на скатерть.

– Поговорим о деле?

– Я все время слушаю вас внимательно.

Левант подумал: «Эге, парень, кажется, хитрее, чем прикидывается».

– Я хотел бы через вас устроить некоторые знакомства… Обставлено будет вполне корректно. Вам нужен аванс, – пожалуйста… – Он хрустнул бумажками в боковом кармане. – Предварительно увезу вас на недельку-другую в Севр. Там у меня вилла. Отдохнете, повеселитесь… Подружимся, – кто меня узнает – за меня в огонь и воду… А потом кое с кем – хотя бы здесь, у Фукьеца – встретимся, позавтракаем.

Налымов, кивая шелушащимся лицом в такт музыке, спросил:

– Очевидно, я должен познакомить вас с великими князьями?

– Отчего же… Делу не помешает, наоборот – красивое знамя… Несколько одиозное… Там увидим. Моя идея строится на других людях. Идея большая – грандиозное дело. Заметьте – я предлагаю вам работать на процентах, – солидно… Из пяти процентов вы будете иметь тысяч триста годовых, обещаю под любую гарантию.

– Предположим, я убежден… Но у меня долги.

– Сколько?

– Восемь тысяч необходимых… Остальные подождут.

– Счета и векселя передадите мне, все будет улажено.

С той же легкостью Налымов ответил:

– Ладно, согласен…

Мимо стола проходил бледный высокий человек, несколько сутуловатый, в темном пиджаке, в котелке набекрень. Повернул к Налымову вялое продолговатое лицо с темными усиками под носом. Налымов сейчас же встал, опустил руки. Человек словно обласкал его сверху вниз беспечальными глазами:

– А-а, Налымов… Что же ты?… Ну, сиди… А я здесь не завтракаю… Дрянь – Фукьец…

И он опять, сверху вниз погладив глазами, пошел к стойке, выделяясь среди всех уверенной медлительностью. На него оборачивались. Александр Левант спросил:

– Великий князь? А какой именно?

– Кирилл Владимирович.

– Претендент на престол?

– Кажется… Хотите познакомиться?

– Знакомство возможно?

– Отчего же… Позвать к столу…

– Заманчиво. Но не сегодня… А что, у него есть войска, народ? На что он рассчитывает? Вы мне подробно должны рассказать о русских делах. Берите вашу шляпу, едем к портному.

С российскими делами в Париже происходила неясность. Буржуа, держатели русской ренты, черпали из газетных заметок скупые и путаные сведения. С полгода тому назад сообщалось, что для охраны французских капиталов, вложенных в торговые, металлургические, угольные предприятия на Украине, на Дону и Урале, правительство вынуждено послать в одесский порт некоторое количество колониальных войск. Мысль была удачная.

Действительно, войска высадились в Одессе, не только французские колониальные, но и греческие. Русская рента, годная лишь для домашнего употребления, начала ползти вверх. Войска как будто победно маршировали по Новороссии. Хотя Советом Десяти и был отклонен план Клемансо о широкой военной экспедиции на восток Европы, но зато сама Россия подавала надежды на скорое освобождение от большевиков: на Северном Кавказе успешно воевал генерал Деникин, под Петроградом – генерал Юденич; в Сибири с помощью французского генерала Жанена и чехословаков образовалось правительство Колчака. Его солдаты очищали Сибирь и восстановляли право собственности.

Совет Десяти с охотой обещал Колчаку всемерную помощь. Русское золото (увезенное чехословаками из Казани) находилось в его руках. Клемансо – как всегда, резко и отчетливо – указывал ему в шифрованных телеграммах линии желательной политики… Огромные военные запасы, оставшиеся после мировой войны и засорявшие рынок, шли теперь в освобождаемую Россию, оживляя частную торговлю. В Архангельске и на Мурмане высаживались английские десанты. Рента ползла вверх.

И вдруг, казалось бы без видимой причины, победоносные французские и греческие войска отплыли из Одессы на родину, бросив заводы, шахты и торговые предприятия своих соотечественников на произвол большевикам. Уплыли и англичане из Архангельска и Мурманска. Газеты объясняли эти досадные события причинами внутренней политики: не имело смысла лишний раз раздражать рабочие кварталы. Рабочие поднимали каждый раз невероятный шум из-за русского вопроса.

Держатели русской ренты (за столиками кафе, вздев очки и насупясь серыми усами в газету) ничего не могли понять в русских военных делах. Грандиозные битвы, кавалерийские рейды, занятие провинций величиной во всю Западную

Европу… Москва окружена, большевикам – смерть. Но Деникин отступает, Юденич отступает, Колчак отступает… В Англии забастовка, в Италии волнения, Германию и Венгрию трясет коммунистическая лихорадка… (Буржуа снимает очки, потирает уставшие глаза…)

Не меньшее изумление вызывали и сами русские, пачками прибывающие в Париж через известные промежутки времени. Более чем странно одетые, с одичавшими и рассеянными глазами, они толкались по парижским улицам, как будто это была большая узловая станция, и все без исключения смахивали на сумасшедших. Сахар, хлеб, папиросы и спички они закупали в огромном количестве и прятали в камины и под кровати, уверяя французов, что эти продукты должны исчезнуть. Встречаясь на улице, в кафе, в вагоне подземной дороги, они как бешеные размахивали газетами. Русских узнавали издали по нездоровому цвету лица и особой походке человека, идущего без ясно поставленной цели. У них водились драгоценности и доллары. На их женщинах (в первые дни по приезде) были длинные юбки, сшитые из портьер, и самодельные шляпы, каких нельзя встретить даже в Центральной Африке. К французам они относились почему-то с высокомерной снисходительностью.

Но были и другие русские: эти смахивали на европейцев и селились в дорогих отелях. Правда, их чемоданы были ободраны и даже с клопами, но фамилии звучали внушительно в промышленных, банковских и биржевых кругах.

У них был здесь свой политический центр: парижское совещание доверенных лиц правителя России (адмирала Колчака) и уполномоченных генерала Деникина для сношения с союзными правительствами. Во главе совещания стоял председатель бывшего Временного правительства князь Львов.

Очевидно, на эти-то русские деловые круги и намекал Левант за завтраком у Фукьеца.

6

Когда были внесены на подносе горячие закуски – по-русски, – последовала минута молчания, передавали графин с водкой, не чокаясь выпили. Кто-то по-довоенному крякнул. Засмеялись. Кто-то вздохнул: «Да, господа…»

Хозяин дома князь Львов сидел спиной к камину – в поношенном пиджаке, в истрепанном жилете, в заштопанной мягкой рубашке. В этой одежде он бежал из екатеринбургской тюрьмы через Сибирь. Круглая седая борода, серебряные, зачесанные назад волосы и неподвижные беловатые глаза придавали ему сходство с земским деятелем девяностых годов; он не ел мяса и не пил вина.

Напротив него сидел известный барин, елецкий помещик, с желто-седой бородой по пояс, с медным орлино-строгим лицом, с волосами ежиком, – Михаил Александрович Стахович. Когда-то он был близок к Николаю II, но после 9 января оставил двор и уехал к себе в Елец, где и развивал независимые суждения. Временное правительство отправило его послом в Испанию. Он прибыл туда в день Октябрьского переворота, не успел вручить верительных грамот, истратил в Мадриде все деньги, вернулся в Париж и поселился у Львова. В политике он снисходительно оправдывал и белых и красных.

Направо от хозяина сидел директор-распорядитель Русско-азиатского банка Николай Хрисанфович Денисов, низенький, воспаленный, с крупным мясистым носом и жесткой бородой сатира. Он только что много говорил, был возбужден, выпил шесть рюмок водки и пододвигал к себе самые острые закуски. Рядом с ним сидел русский посол в Англии (назначенный Временным правительством) Константин Дмитриевич Набоков, изящный и выхоленный. Он привез из Лондона важные сообщения о русском вопросе и с любопытством разглядывал пятого собеседника, для которого в сущности и собрались за этим столом.

Пятый собеседник сидел налево от хозяина, – круглоголовый, широколицый, с волчьим лбом и выбитыми двумя передними зубами, которые он не успел еще вставить себе в Париже. Это был знатный азербайджанец Тапа Чермоев, бывший конвоец и владелец огромных нефтяных участков в Баку.

За столом он еще не сказал ни слова. Все знали, что привела его сюда острая нужда в деньгах. В восемнадцатом году англичане, заняв Баку, предложили Чермоеву образовать Азербайджанскую республику. Он выказал англичанам преданность, но от продажи им нефтяных участков до времени уклонился. Тогда представлялось, что Азербайджан, Дагестан, Грузия, Абхазия и Армения прочно подпадут под державное покровительство Англии, и только безумец мог бы при таких перспективах торопиться продавать нефтяные земли.

Противно здравому смыслу, большевики выбили англичан из Баку и Азербайджана. И англичане почему-то не послали ни флота, ни войск, чтобы вернуть Чермоеву власть и нефть. Он бежал в Париж и стал, как все здесь, просыпаться с надеждой, засыпать в мрачном отчаянии. Денег ему не давали под национализированные большевиками нефтяные участки – предлагали сначала вернуть их от большевиков. За последнее время мысли его начали устремляться к военным успехам Деникина. Чем это пахло для Азербайджана, он понимал. Но в конце концов ему не плохо было и при империи в свите его величества.

Задача (у сидящих за столом) была: прощупать намерения Чермоева и убедить его в безусловной и близкой победе белого оружия…

За столом шел покуда что легкий разговор. Денисов рассказывал парижские новости. Год тому назад Николай Хрисанфович и не подумал бы утруждать себя болтовней с такими музейными барами. Он искренне презирал высокородных выродков и дураков, все еще уверенных, что Россия – их большое именье, которым они призваны управлять. Выродки и дураки привели Россию к тому, что она оказалась не подготовленной к мировой войне, и в семнадцатом году история поставила запоздалую точку на самодержавии. Денисов был «демократом». Во время февральской революции он стал владельцем Русско-азиатского банка. Соразмерно этому выросло его честолюбие, раскрывались возможности вплоть до президента Российской демократической республики. Большевиков он воспринял как завершение революционного хаоса, из которого тоже умудрился извлечь пользу, широко скупая недвижимую собственность, акции и прочее. Приди сейчас успокоение и порядок – он сразу становился в ряды миллиардеров.

Весь восемнадцатый год он выжидал и покупал. В девятнадцатом большевики начали внушать ему опасения. Дело с их ликвидацией затягивалось, Колчак начал было хорошо, но от него понесло такой доисторической монархией, грабежом и безобразием, что французы подумывали об его ликвидации. Деникин воевал тоже пока что недурно, но чем ближе он придвигался к Москве, тем скупее Англия отпускала ему помощь и тем яснее обозначались различные точки зрения Англии и Франции на его успехи. Выигрывали на этом одни большевики. Ясное близкое будущее отодвигалось в неопределенную даль.

Николай Хрисанфович остроумно рассказывал о театральной новинке – комедии Саша Гитри, где отец, сын, жена и любовница играли ничем не прикрашенную,

на самом деле этой весной случившуюся неурядицу в семье Гитри: Саша Гитри стал изменять жене (мадемуазель Претан), его отец (Люсьен Гитри) пожертвовал своими старческими силами, наставил Саша рога с его любовницей (мадемуазель Бланш) и вернул его к жене. Так это и написано в комедии – слово в слово. Первый акт – в столовой, второй и третий – в постели. Пресса разделилась: одни кричали, что это – натурализм, вечер французского искусства, другие – что это заря великой правды, с которой война сорвала последние блески лжи. Париж валом валит к Саша Гитри в театр.

– А вот, – сказал Стахович, – в «Олимпии» так совсем уж голые – двести девочек на сцене…

Беловато-стеклянный взгляд Львова с упреком остановился на Стаховиче, лицо которого уже побагровело от коньяка.

– Несколько удивляет, – проговорил князь Львов, – что сделалось с французскими женщинами? Я повел племянницу в этот, как его, самый приличный вечерний ресторан, и сейчас же пришлось уйти… Нельзя предположить, что естественное целомудрие исчезло. Скорее – это массовый психоз. Сегодня мне сообщил секретарь министра исповеданий, что решен вопрос о причислении Жанны д’Арк к лику святых…

Львов, как всегда, был тяжелым собеседником. Никто за столом не подхватил темы о моральных проблемах. Стахович налил себе красного вина.

– Носят прозрачные юбочки по колено, а весь верх открыт, сзади – даже ниже талии, – это поражает непривычный глаз… Что прикажешь делать? Убито полтора миллиона отборных самцов… Поневоле обрежешь юбочку.

Денисов сказал:

– Куда дальше, – в Ростове-на-Дону все режут юбки. На Садовой в четыре часа – как на пляже… Деникин, говорят, возмутился, но за короткой юбкой преимущество – безопасность от тифозных вшей и минимум материала…

Молчаливый до этого времени Тапа Чермоев медленно повернул круглое лицо к хозяину, спросил вежливо-презрительным голосом:

– Как сыпной тиф в добровольческой армии, Георгий Евгеньевич? Идет на убыль?

– Да… да, тиф – это великое испытание. – Львов вытащил из-за жилета салфетку. Все встали и перешли в салон, где дымились чашки с кофе. Опустив голову, заложив руки под пиджак за спину, Львов прошелся по ковру и остановился около Чермоева. – Тиф – наша основная забота. Но, может быть, и наше главное оружие. Мы широко снабжены медикаментами… У большевиков их нет, у красноармейцев нет сменных рубах… Смертность у них – семьдесят процентов, у нас вдвое меньше. Лучше пуль и штыков за нас борется тифозная вошь…

Чермоев без улыбки поклонился, показывая, что убежден. Львов опять, – руки под пиджаком, опустив голову, – прошелся и стал около Набокова, осторожно мешавшего ложечкой черный кофе в чашечке.

– Константин Дмитриевич, нам бы хотелось послушать ваше сообщение о лондонских делах…

Набоков наклонил голову:

– Слушаю-с…

Он поставил чашечку на камин. По его понятиям, приличные в высшей степени люди (комильфо) существовали только в Лондоне. Немецкая аристократия, кичащаяся готским альманахом (этой адресной книгой для брачных контрактов с коронованными особами), французские блестящие фамилии, смешавшие свою кровь крестоносцев с кровью еврейских банкиров, русское дикое, безграмотное, пропахшее водкой и собаками дворянство, не умеющее хранить ни земель, ни чести, ни блеска имен, – все это были варвары. В том числе и милейший Михаил Александрович Стахович. Англичанин, меланхоличный, замкнутый, равнодушно-гордый, в замке у очага в сумерках, на том же самом месте, на том же самом кресле, обитом тисненой кожей, где восемь столетий сидели его предки, – такой человек по праву, не доступному пониманию толпы, истинный патриций, хозяин мира, что вы там ни кричите со своих плебейских трибун… Разумеется, эти мысли не были написаны на бледном, с черными волосиками на губе, по-английски спокойном лице Набокова, оно выражало лишь величайшее внимание к собеседникам…

– Господа… на днях я говорил с Черчиллем… Кажущийся страх перед рабочей партией – лишь простой маневр. Слагаемые английской внутренней политики таковы, что выгоднее уступить крикунам в палате общин, чем вооружать против себя прессу Ирландии, Индии и так далее. Мы как будто уступили в эвакуации Архангельска и Мурмана, на самом деле эвакуация оттуда английских войск будет производиться крайне замедленно. Второе – отвод английских частей с деникинского фронта…

Львов тотчас заложил руки под пиджак и опять заходил, как в одиночке.

– …На их место Черчилль посылает две тысячи пятьсот инструкторов-добровольцев… Эти уступки позволили Черчиллю сообщить мне: из секретного фонда английского военного министерства ассигновано двести сорок миллионов рублей на материальное снабжение Деникина…

На истуканьем лице Тапы Чермоева вдруг открылись зубы с изъяном. Денисов схватился за мясистый нос.

– …Это тем более во всех отношениях приятно, что военное министерство не может потребовать и не потребует от России компенсации… Я боюсь, господа, быть непонятым… Мы знаем, что двадцать третьего декабря семнадцатого года Клемансо и Ллойд-Джордж договорились о разделе сфер влияния… Линия влияния проходит через Босфор, Керченский пролив, на Царицын и дальше к северу… Грехи русского народа были слишком вопиющи, Россия должна чем-то поплатиться. Да, сферы влияния! Да, мы теряем из суверенного хвоста несколько павлиньих перьев… И это все, чем мы платимся за Брестский мир… Мое глубочайшее убеждение: потеряв, мы приобретаем гораздо больше. Своими силами нам все равно не восстановить разрушенного. В мирное время нам приходилось занимать направо и налево. Одна Франция вложила столько денег, что фактически владела пятьюдесятью пятью процентами русского железа, семьюдесятью процентами русского угля и тридцатью процентами нефти…

Набоков поднял красивые глаза, как бы припоминая цифры, затем отхлебнул из чашечки, поставил ее снова на камин и осторожно платком потомпонировал губы.

– …Сферы влияния? Прежде всего это: две высшие цивилизации приходят исцелять тяжелобольного… Я приветствую Колчака – он трезво учитывает

неизбежность вмешательства Англии в нашу экономическую политику… Менее понятна позиция великодержавных генералов на юге России. Звон оружия заглушает в них голос здравого смысла. Единая, неделимая – это красивое знамя, но это игра дикарей в войну, господа. Нельзя ссориться со взрослыми.

Львов что-то хотел сказать, но только коротко кашлянул. Стахович сопел, раздувая сигару.

– Россия – это организм, переросший самого себя. Дом несчастных Романовых кое-как слеплял разваливающиеся куски… Отсюда эта профессиональная великодержавность у наших генералов. Но – распался великий Рим, и – да здравствует европейская цивилизация… Так думают в Англии. Война окончена… Мы на развалинах Рима… Англия принимается наводить у нас порядок…

Поймав блеснувший, как олово, взгляд Львова, Константин Дмитриевич чуть-чуть нахмурился.

– …Это право высшей культуры… Право патрицианского духа над всем этим – квас, тройка, самовар… – Он незаметно с юмором покосился в сторону Стаховича. – Индусы, арабы, негры проходят тяжелую колониальную школу, но зато они прикасаются к цивилизации. Когда римляне несли в глушь германских лесов орлы своих легионов, это было первым уроком ребенку говорить «папа» и «мама»… Я понимаю французского буржуа: у него чулок набит русской рентой и промышленными акциями царской России, он с яростью будет кричать о восстановлении «великой и неделимой». Но такой ясный ум, как Жорж Клемансо?! Хотя в конце концов это не важно – совершится то, что совершится…

Слушатели молчали, не то подавленные, не то от недоумения. Набоков приподнял брови, медленно закурил от восковой спички, покусал прилипший к губе кусочек папиросной бумаги.

– Теперь сообщу наиболее важное… Черчилль находит, что военный спектакль в России утомителен… Белые отступают, белые наступают, красные отступают, красные наступают… Черчилль находит, что большевики засиделись в Москве. Если у них нет такта уйти самим, придется прибегнуть к давлению извне… План коалиции четырнадцати государств для военной прогулки на Петербург, Минск, Киев, Одессу и концентрического наступления на Москву нужно считать решенным в положительном смысле… Вопрос в деталях – кое у кого сбавить

аппетита, кое-кому прибавить храбрости… Я кончил, господа…

7

Гости взяли лежавшие в прихожей на креслах пальто, шляпы и трости. Сказали несколько последних шуток и гуськом молча спустились на влажную улицу, под мягко шелестящую листву платанов, скупо озаряемых высоко взнесенными электрическими лунами.

Львов и Стахович вернулись в маленький салон. Стахович, потерев всей ладонью медное лицо, спросил неожиданно:

– Как тебе понравился коньяк?

Львов гневно взглянул на старого друга:

– Как тебе понравился Набоков? Если так рассуждают русские, то как же должны… Прости, я никогда не был славянофилом, но… Эта англомания, это западничество, доведенное до… И все же… Я посылаю Деникину танки – расстреливать наших мужиков… Набоков удовлетворен… (Голос уже ушел вглубь и рвался оттуда все раздражительнее.) Но я-то, я – не удовлетворен. До большевиков можно добраться только через трупы русских… Я буду гореть на вечном огне, но я не знаю, как по-другому спасти Россию… Читай Апокалипсис, Михаил Александрович… Если бы я мог все бросить, бросить и – в монастырь…

– В русском западничестве, – ответил Стахович, полулежа в кресле и запустив пальцы в бороду, – в русском западничестве более глубокие и отдаленные корни, чем у славянофилов… Первое проявление западнической ориентации я отношу ко времени Тушинского вора: это так называемый перелет к нему московских бояр. В сущности, они просили у польского короля того же, что просит Набоков у Черчилля…

– Вздор, вздор говоришь…

– Когда у нас начали читать Гегеля, западничество разделилось на две ветви – дворянскую и разночинную… Первая вылилась в устройстве английских парков. Перестали отправлять нужду под лестницей на горшке и завели ватерклозеты… Разночинцы начали бороться с Богом, а впоследствии читать Маркса… Я вот сижу и думаю: не находишь ты, Георгий Евгеньевич, что Маркс понятнее русскому мужику, чем славянофилы?… Не знаю, не знаю…

– Да, идем спать, – сказал Львов. Засопел, закрутил стальной цепочкой от ключей и вышел.

Стахович остался в кресле – курить и пить коньяк.

8

Набоков пошел пешком через Марсово поле. Под решетчатой ногой Эйфелевой башни, отраженной вместе с бледными звездами в маленьком озерке, он остановился закурить папироску. Здесь его нагнал, слегка задыхаясь, Тапа Чермоев.

– Я не нашел такси, – сказал Тапа, – и повернул за вами… Может быть, поедем развлечься?

Набоков вздохнул. Он чувствовал утомление, а нужно делать усилие, чтобы отвязаться от этого татарина. Чуть-чуть поморщился. Пошли туда, где через Сену, под аркадами моста, проносился, ярко светясь окошками, поезд метро. Не надеясь, что Тапа поймет, Набоков все же сказал, глядя на лиловатое зарево над центром города:

– Париж напоминает мне корзину с влажными розами, внесенную в кабак.

Тапа подумал, ответил серьезно:

– Сейчас нет хороших кабаков. Парижане еще не оправились от войны.

– Да, постоянно жить в Париже я не хотел бы… Я люблю наше печальное лондонское солнце, наши туманы, чинное однообразие улиц…

Набоков покосился на одну из парочек в тени куста на скамейке. Женская рука белела на груди мужчины, где поблескивала военная пуговица. Они сидели неподвижно, и со стороны казалось, что они погружены в безнадежное горе.

– У меня всегда желание – вот таким предложить десять франков на ночную гостиницу, немножко комфорта. – Набоков обернулся на хруст колес такси, поднял трость, но шофер покачал указательным пальцем.

Тапа сказал:

– Константин Дмитриевич, вы меня обрадовали сегодня… Что ж такое? – так думаешь. – Неужели на свете нет правды?… Да, Черчилль хороший человек, умный человек… То, что вы сообщили, еще не опубликовано в газетах?

– Нет, и не будет…

– Понимаю, понимаю…

– Вас интересуют нефтяные курсы, Чермоев?

– Да. Нефть меня интересует.

– Когда я входил к Черчиллю, у него сидел Детердинг…

– Так, так… Нефтяной король… Очень обрадовало и заинтересовало ваше сообщение… Такси! (Тапа, весь оживившись, побежал к перекрестку, где медленно проезжал автомобиль.) Константин Дмитриевич, свободен, – крикнул он оттуда. – Едем на Монмартр?

Выйдя от Львова, Николай Хрисанфович Денисов из ближайшего кафе позвонил по телефону. Трубку сейчас же взяли, и слабый ноющий голос проговорил:

– Да, это я, Уманский… Здравствуйте, Николай Хрисанфович… Отчего так поздно?… Знаете, у меня болит восемнадцать зубов… Врач уверяет, что нервное, но мне не легче… Приезжайте, меня тут развлекают кое-какие друзья…

Бросившись в такси и крикнув адрес, Николай Хрисанфович увидел в автомобильном зеркальце свое лицо – налитый возбуждением нос и среди черной бороды оскаленные свежие зубы… «Ловко! – подумал. – У Семена Уманского болит восемнадцать зубов – значит, военные стоки он еще не продал и о Черчилле ничего не знает…»

Семен Семенович Уманский, низенький и плешивый, с белобрысыми глазами, лежал на неудобном диванчике. Носок лакированной туфли его описывал круги, замирал, настораживался и начинал подскакивать кверху, затем опять описывал круги – в зависимости от дерганья зубной боли.

У стола, заваленного дорогими безделушками, сидели пышноволосая дама с вишневыми губами и молодой, бледный, медлительный человек. Они пили шампанское.

Длинное лицо молодого человека усмехалось, в синих глазах дремала ледяная тоска. Это был довольно известный на юге России журналист Володя Лисовский, фантастический нахал и ловкач. Ему надоели вши, война и дешевые деньги. Он заявил начальнику контрразведки, что едет в Париж работать в прессе, ему нужна валюта и паспорт… Он явился к начальнику штаба генералу Романовскому и бесстрастно доказал, что гораздо дешевле послать в Париж одного русского журналиста, чем там покупать дюжину французских. Он явился к профессору Милюкову, ехавшему в Париж, и, несмотря на его хитрость, в пять минут убедил взять себя личным секретарем.

Сейчас, грызя миндаль, он рассказывал о знаменитых публичных домах, куда было принято ездить с приличными дамами после ужина смотреть через окошечки на забавы любви.

Семен Семенович, хватаясь за щеку, тянул слабым голосом:

– Перестань, Володя, ты смущаешь баронессу…

Баронесса Шмитгоф была не из робких. Чувствуя себя превосходно в кресле, за шампанским, она махала рукой на Семена Семеновича:

– Молчи, мое золотко, тебе вредно волноваться…

Когда несколько отпускала боль, Уманский говорил:

– Ах, деточки мои, меня не зубы мучают, меня мучает несправедливость… Я люблю делать добро людям… Я ведь тогда счастлив, когда делаю добро… Ой, ой!.. Сколько страданий!.. И мне – подрезают крылья… Но не огорчайтесь… Справимся, деточки, вылезем как-нибудь… Пейте и веселитесь…

В дверь постучали, нога Семена Семеновича судорожно подскочила. Вошел Денисов.

– Николай Хрисанфович, уж простите меня, буду лежать… Знакомьтесь, пейте, курите… Володя, голубчик, принеси – на кухне, в тазу во льду, – бутылочка… Ох, Боже мой, Боже мой, какая мука!.. Чудное довоенное клико… Граф де Мерси, громадный аристократ, предлагает продать родовой погреб. Боюсь только, что эту бутылку он дал не из своего погреба. Ведь обмануть меня ничего не стоит…

Сморщенное лицо Семена Семеновича изображало томную муку. Денисов сказал, что заехал исключительно от беспокойства – справиться о здоровье. Уманский собачьей улыбкой выразил, что поверил. У баронессы Шмитгоф горели щеки, – в эту минуту ей, непринужденно болтающей с двумя такими денежными тузами, позавидовали бы многие женщины. Держалась она несколько по-старомодному, подражая кошечке, – шифоновое, с узким, до пупка, вырезом черное платье, нитка жемчуга, встрепанные волосы, тонкий носик, близорукие глазки… (Денисов сразу определил: над девушкой нужно еще работать, но материал – не дурен…)

Забравшись кошечкой в большое кресло, она болтала о тайне «больших домов» (знаменитые портные), готовивших осенний переворот в модах. Президент палаты Дюшанель приподнял покрывало тайны: в интервью он сказал: «Передайте женщинам Парижа, что вихрь осенней листвы закроет весь траур…»

– Как вы это понимаете, Николай Хрисанфович? «Эхо бульваров» объясняет, что цвет осенней листвы – это тона от багрового до нежно-желтого. И, конечно, шифон… Кстати, Дюшанель вчера в Люксембургском саду, гуляя, упал в бассейн, где дети пускали кораблики. Газеты это скрывают. Все уверены, что Дюшанель будет президентом после Пуанкаре. Пуанкаре пора уходить, он всем надоел со своей войной…

Уманский с наслаждением слушал эту бурду из журнальных заметок и газетных сенсаций. Было очень кстати то обстоятельство, что акула Денисов, приехавший, по-видимому, что-то заглотнуть, застал у него в будуаре за бутылкой шампанского настоящую светскую женщину.

– Не волнуйтесь, дорогая, – повторял он, когда баронесса коротенькими глоточками пригубливала бокал, – у вас будут платья от лучших домов… Ах, Николай Хрисанфович, какое счастье помогать людям! – И он валился на круглую подушечку, щелками глаз наблюдая за непроницаемым лицом Николая Хрисанфовича. «Эге, – подумал, – не мешает ли ему Лисовский?»

Володя Лисовский налил в бокалы вина и сел в тень. Сейчас же с этой стороны у Денисова напряглось ухо. Он медленно взял папиросу и закурил не с того конца…

«Так и есть, – подумал Уманский, – он знает что-то важное».

– Ну, как русские дела, Николай Хрисанфович?

– Неопределенно…

– А вот Володя Лисовский меня обнадеживает: самое позднее к ноябрю Деникин будет в Москве… В России – ни обуви, ни белья, ни одеял, ни консервов. А мы здесь пьем шампанское!.. Боже мой, Боже мой!.. Я, кажется, отправлю в дар москвичам целый эшелон обуви и байковых одеял… (У Денисова заблестел глаз…) Я так решил! (Скинул ноги с дивана.) В чем счастье, наконец, Николай Хрисанфович? Отправлю в подарок пароход с бельем и консервами… Пусть только они возьмут Москву… Володя, можете сказать об этом Бурцеву. Ей-богу, отправлю… Простите, баронесса, мы – все про свою боль… Ах, надоела политика…

Баронесса проговорила трескуче-сухим голоском с живостью:

– Французы в панике, когда в общество попадает хотя бы один русский: только и слышно – большевики, большевики, Москва, Москва… Так прогоните, наконец, ваших большевиков, вы становитесь смешны с вашей вечной политикой: Москва, большевики!..

Кружевным платочком она потрогала носик.

Денисов сказал:

– Вы слышали, застрелился Манус…

Семен Семенович сейчас же подскочил, впился в него расширенными глазами.

– Застрелился Манус?!

– Да, ужасно… В Марселе… Грузил два парохода военными стоками. Портовые рабочие вдруг отказались грузить для Деникина. Пришлось добиться от правительства публикации, что пароходы идут в Аргентину… Рабочие продолжают бастовать. А цены падают. Манус все ждет… Когда разница дошла до трех миллионов франков, выстрелил себе в рот…

– В рот! Манус, Манус, дорогой друг!..

Уманский притиснул ладони к глазам. Володя Лисовский встал, чтобы сбросить пепел в пепельницу.

– Курьезный факт, – с кривой усмешкой сказал он и стал глядеть на Денисова, – американцы в Булони сожгли целый склад мотоциклов… (Денисов сейчас же быстрым взглядом ответил: «Играете на меня, понял и благодарю».) Двести тысяч новых военных машин!..

Уманский оторвал руки от лица:

– Сожгли мотоциклы? В чем дело?

– Благодарная Франция предложила американцам чуть ли не по пятьдесят франков за мотоцикл. Дороже стоит погрузка и фрахт, а везти их назад в Америку – сбивать там цены… Шикарно: поставили кругом пулеметы, облили склад керосином и, не моргнув глазом, сожгли товару на десять миллионов долларов!.. А теперь французы будут платить по пятьсот долларов за машину…

– Слушайте! – Уманский сорвался с дивана. (Баронесса испуганно открыла ротик.) – Разве нет Деникина и Колчака? Русские армии разуты, раздеты, безоружны! Я имею пятьсот тысяч превосходных одеял, восемьсот тысяч пар башмаков для пехоты, миллион комплектов белья, десять тысяч тонн австралийской солонины… Я могу повести в бой полумиллионную армию… Я не хочу зарабатывать на святом деле, дайте мне только вернуть мои деньги…

Денисов безнадежно закивал носом в пузырящийся бокал:

– Семен Семенович, вы забываете, что американцы привезли в Европу военного снаряжения на два миллиона солдат с расчетом на пять лет войны. Англичане на такой же срок заготовили продовольствие. Кому сейчас нужна эта солонина, бобы, консервированные пудинги, бязевое белье для покойников, пудовые башмаки… В окопы сейчас никого не загоните… А сколько можно продать Колчаку и Деникину! Пссст! Капля в море… Положение с военными стоками катастрофичное…

Уманский, забыв зубную боль, бегал по ковру. Топнул лакированной туфелькой:

– А все-таки я буду ждать! Я окажусь прав, а не паникеры.

– Ну что ж. – Денисов подвигался в кресле, будто собираясь встать. – В игре советов не дают. – Он осторожно покосился на Лисовского.

Тот понял и заговорил насмешливо:

– На днях забегал к Морозовым. Сидят три московские купчихи, где-то раздобыли арбуз, едят, ругательски ругают французов и евреев, собираются ехать в Россию, и Россию тоже ругают на чем свет… Все вещи – в чемоданах; собираются быть в Москве к началу сезона – смотреть премьеру в Художественном театре… Я им говорю: «Что же вы так собрались-то?…» – «А нам, говорят, из Лондона написали, что на днях будет война четырнадцати

держав». Я – натурально – шапку, трость и – в редакцию. (Денисов громко засмеялся. Уманский белобрысо моргал.) Там сдуру-то и рассказываю сенсацию… Бурцев, как был, в соломенной шляпенке, пальто набито корректурами, – рванулся писать передовицу: «Осиновый кол вам, большевики…» Кричит из кабинета: «Лисовский, сведения из достоверного источника?» Отвечаю: «Ага…» – «Лисовский, вы не можете достать денег, съездить в Лондон? Добейтесь аудиенции у Черчилля». А я как раз читаю «Таймс» – в Лондоне всеобщая забастовка… Жалко старика… «Вы, говорю, Владимир Львович, на всякий случай передовицу-то покажите военной цензуре…»

Лисовский положил в рот соленую миндалину; похрустев, вернулся в тень. Денисов допил бокал и поднялся.

– Боюсь я, что выйдет самое скверное, – сказал он, – Ллойд-Джордж добьется мирной конференции на Принцевых островах. Большевики, видимо, уже склонны мириться, а Деникина и Колчака англичане уломают… Ну вот, Семен Семенович, рад был вас видеть.

Он взял надушенную руку баронессы и прижался к ней колющими усами.

– С кем вы были вчера в Булонском лесу?

– Вы меня видели? Я была с графом де Мерси… Правда, он очарователен?… Но он разорен… Он маниакально любит Россию и русских…

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/aleksey-tolstoy/emigranty-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить